



СОМЕРСЕТ МОЭМ

Записные книжки

<Фрагменты>

<1917>

Причины, подвигнувшие меня заинтересоваться Россией, были в основном те же, что и у большинства моих современников. Русская литература — самая очевидная из них. Толстой и Тургенев, но главным образом Достоевский описывали чувства, каких не встретишь в романах писателей других стран. Величайшие романы западно-европейской литературы рядом с ними казались ненатуральными. Новизна этих романов побудила меня умалять Теккерея, Диккенса и Тrolлопа с их традиционной моралью; даже великие французские писатели — Бальзак, Стендаль, Флобер — по сравнению с ними казались поверхностными и холодноватыми. <...>

* * *

«Анну Каренину» я прочитал еще мальчишкой задолго до того, как начал писать сам, впечатления о романе у меня сохранились самые смутные, и когда много лет спустя я перечел его, уже как произведение искусства, с профессиональной точки зрения оно показалось мне сильным и неожиданным, но несколько суровым и не согретым чувством. Потом я прочитал «Отцов и детей» по-французски; я слишком мало знал о России и не сумел оценить этот роман; диковинные имена, необычные характеры настраивали на романтический лад, но, как и на многих тогдашних романах, на нем сказалось влияние французской прозы тех лет, во всяком случае, на меня этот роман большого впечатления не произвел. Позже, заинтересовавшись Россией по-настоящему,

я прочитал и другие романы Тургенева, но они оставили меня равнодушным. На мой вкус, их идеализм был чересчур сентиментальным, красоту же тургеневского слога, столь ценимую русскими, я в переводе не почувствовал и счел их вполне дюжинными. Лишь взявшись за Достоевского («Преступление и наказание» я прочитал в немецком переводе), я был озадачен и потрясен. Его роман так много мне открыл, что я прочитал один за другим все великие романы этого величайшего писателя России. И наконец, я прочитал Чехова и Горького. Горький оставил меня равнодушным. То, о чем он писал, было мне любопытно и ново, но сам он показался мне писателем не крупного дарования; его вполне можно читать, когда он без лишнего пафоса описывает жизнь низов, но мой интерес к трущобам Петрограда быстро иссяк; а его рассуждения и философические отступления представляются мне банальными. Талант Горького неотъемлем от его происхождения. Он писал о пролетариате, как пролетарий, в отличие от большинства авторов, трактовавших эту тему с буржуазной точки зрения. Чехов же, напротив, очень близок мне по духу. Вот настоящий писатель — не такой, как Достоевский, который, точно необузданная стихия, поражает, восхищает, ужасает и ошеломляет; а писатель, с которым можно сойтись. Я почувствовал, что именно он откроет мне загадку России. Он знал самые разные стороны жизни и знал их не понаслышке. Его сравнивали с Ги де Мопассаном, но, надо полагать, лишь те, кто не читал ни того, ни другого. Ги де Мопассан — умелый рассказчик, в вершинных достижениях блестящий, а любого писателя и следует судить по вершинам, но к жизни его рассказы прямого отношения не имеют. Наиболее известные его рассказы читать увлекательно, но они настолько искусственны, что в них лучше не вдумываться. Его герои — лицевые, их трагедии — это трагедии марионеток, не живых людей. Взгляды Мопассана на жизнь, то есть подоплека поступков его героев, — убоги и пошлы. У Ги де Мопассана — душа сытого коммивояжера; и его слезы, и смех отдают провинциальной гостиницей, где собираются торгаша. Он сын мсье Омэ¹. Рассказы же Чехова читаешь, не обращая внимания на то, как они сделаны. Virtuозность Чехова не бросается в глаза, и может показаться, что эти рассказы написал бы каждый, вот только никто так не пишет — и это факт. У Чехова речь идет о том, что его взволновало, и он умеет передать это так, что его волнение передается читателю. И тот становится его соавтором. К чеховским рассказам неприложимо избитое определение «кусочек жизни», потому что кусочек — нечто, отрезанное от целого, чего о рассказах Чехова никак

не скажешь; его рассказ — это сцена, увиденная как бы ненароком, и хотя показана лишь ее часть, понятно, чем она кончится.

Я был крайне несправедлив к Мопассану. Чтобы меня опровергнуть, хватит и одного «Заведения Телье».

Русские писатели так вошли в моду, что даже люди здравомыслящие склонны весьма преувеличивать достоинства некоторых из них лишь потому, что они пишут по-русски, и в итоге Куприну, к примеру, Короленко и Сологубу уделялось внимание, отнюдь ими не заслуженное. Сологуб, на мой взгляд, незначительный писатель, но сочетание чувственности и мистицизма, несомненно, делает его притягательным для определенного круга читателей. С другой стороны, во мне нет презрения к Арцыбашеву, которым щеголяют некоторые, — «Санин», на мой взгляд, книга, не лишенная достоинств; она пронизана солнцем, а это в русской литературе большая редкость. Герои Арцыбашева не месяц слякоть; у него небо голубеет, ветки берез колышет приятный летний ветерок.

А вот что поражает каждого, кто приступает к изучению русской литературы, так это ее исключительная скудость. Критики, даже из числа самых больших ее энтузиастов, признают, что их интерес к произведениям, написанным до девятнадцатого века, носит чисто исторический характер, так как русская литература начинается с Пушкина; за ним следуют Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский; затем Чехов — вот и все! Люди ученые называют множество имен, но не приводят доказательств, чем они замечательны; человеку же со стороны достаточно проглядеть эти произведения, чтобы убедиться — он ничего не потерял, не прочитав их. Я попытался вообразить, что представляла бы собой английская литература, начнись она с Байрона, Шелли (я не допустил бы особой несправедливости, заменив Шелли Томасом Муром) и Вальтера Скотта; продолжись Диккенсом, Теккереем и Джордж Элиотом; и закончись на Джордже Мердите. Первый результат: этих писателей очень возвеличили бы.

* * *

Именно потому, что у их литературы такая короткая история, русские знают ее досконально. Всякий, кто имеет привычку читать, прочитал все и так часто перечитывает, что знает эти произведения назубок, как мы версию Библии короля Якова I. А так как русскую литературу в основном составляют романы, словесность в России в жизни людей просвещенных играет куда большую роль, чем в других странах.

* * *

«Ревизор» в России пользуется невероятной славой. Он один заключает в себе всю русскую классическую драматургию. Точно так же, как у нас все без исключения читали «Гамлета», так и каждый русский школьник читает «Ревизора»; его играют по праздникам и на каникулы так же, как «Сида»² в «Комеди Франсез». Для русских в этой одной-единственной банальной пьеске заключены Шекспир и елизаветинцы³, Конгрив и Уичерли, Голдсмит и «Школа злословия»⁴. Имена ее персонажей стали нарицательными, и добрая сотня ее строк вошла в поговорку. При всем при том это до крайности ничтожный фарс, не хуже и не лучше, чем «Захолустье» Коцебу⁵, которым он, вероятно, и был навеян. Это пьеса примерно такого же уровня, что «Ночь ошибок». Интрига не несет никакой нагрузки, персонажи ее — не характеры, а карикатуры. При всем желании в них нельзя поверить. Гоголю меж тем достало здравого смысла не вывести в пьесе ни одного умного и порядочного человека, чтобы не исказить созданной картины. Появись в этом сборище плутов и олухов человек честный или путный, это нарушило бы художественную цельность пьесы. Также и Конгриву достало ума поостеречься ввести человека добродетельного в компанию своих распутников. Удивляет не то, что Гоголь и его современники придавали такое значение этой смешной пьеске, — поражает, что ее так же высоко оценили критики, имеющие понятие о литературе Западной Европы. По большей части люди, знакомившие мир с Россией, плохо представляли другие страны; они восхищались некоторыми ее свойствами, как типично русскими, лишь потому, что они отличны от английских, не зная того, что эти свойства — результат определенных условий жизни и соответственно присущи всем странам с примерно такими же условиями жизни. Чтобы хоть отчасти понять чужую страну, надо не только пожить и в ней, и в своей родной стране, но непременно хотя бы еще в одной. Арнольд Беннетт⁶ считал, что чашка кофе с булочкой на завтрак — специфически французский обычай, и переубедить его нельзя было никакими силами.

* * *

Каждый, кто совершает экскурсии в русскую жизнь или русскую литературу, не может не заметить, какое большое место занимает в них глубокое чувство греховности. Русский не только

постоянно твердит, что он грешен, но, судя по всему, ощущает свою греховность и глубоко страдает от угрызений совести. Черта любопытная, и я пытался найти ей объяснение.

Разумеется, в церкви мы признаем, что мы жалкие грешники, отнюдь в это не веря; здравый смысл нам подсказывает, что никакие мы не грешники: у всех у нас были ошибки, все мы совершали поступки, о которых сожалеем, но мы прекрасно знаем, что не делали ничего такого, чтобы бить себя в грудь или скрежетать зубами. В большинстве своем мы люди довольно приличные и стараемся вести себя как можно лучше в том состоянии, которое нам выпало по воле случая; и если и верим в Страшный суд, то понимаем, что у Бога достанет мудрости и здравого смысла не беспокоиться из-за проступков, которые и мы-то, смертные, без особого труда прощаем нашим близким. Не то чтобы мы были так уж довольны собой: в общем и целом у нас вполне хватает смирения, но мы заняты непосредственными делами и не слишком заботимся о наших душах. Русские, как мне кажется, не похожи на нас. Они более склонны к самоанализу, чем мы, чувство греховности у них обострено. Оно и в самом деле переполняет их, и они готовы, облачившись в рубище и посыпав главу пеплом, рыдая и вопия, каяться в прегрешениях, которые никоим образом не смутили бы нашу менее чувствительную совесть. Дмитрий Карамазов считает себя великим грешником, и Достоевский видит в нем человека необузданных страстей, чьей душой овладел Дьявол; но, если взглянуть на него более трезво, он предстанет не таким уж закоснелым грешником: он играл в карты, пил без удержу, а напившись, бушевал и буянил; его обуревали плотские страсти, он был вспыльчив и не всегда владел собой; был порывист и опрометчив; вот, пожалуй, и все его грехи. Мсье де Вальмон⁷ и лорд Джордж Хелл⁸ — до того, как любовь превратила его в счастливого лицемера, — оба отнеслись бы к его проступкам с добродушием, не без примеси презрения. Кстати, русские не такие уж большие грешники. Они ленивы, несобранны, слишком словоохотливы, плохо владеют собой и поэтому чувства свои выражают более пылко, чем они того заслуживают, но, как правило, они незлобивы, добродушны и не злопамятны; щедры, терпимы к чужим недостаткам; плотские страсти, пожалуй, не захватывают их с такой силой, как испанцев или французов; они общительны, вспыльчивы, но отходчивы. И если русских угнетает сознание своей греховности, то не потому, что они виновны в бездействии или злодействе (кстати говоря, они по преимуществу склонны упрекать себя в первом), а из-за некой физиологической

особенности. Почти все, кому довелось побывать на русских вечеринках, не могли не заметить, как уныло русские пьют. А напившись, рыдают. Напиваются часто. Вся нация мучается с похмелья. То-то была бы потеха, если бы водку запретили, и русские в одночасье потеряли те свойства характера, которые так занимают умы склонных к сентиментальности западных европейцев.

* * *

У меня не вызывает ничего, кроме ужаса, вошедший недавно в моду культ страдания в литературе. Отношение к нему Достоевского мне претит. В свое время я видел немало страданий, немало перестрадал и сам. Когда я учился медицине, проходя практику в палатах больницы Св. Фомы, у меня была возможность видеть, как влияет страдание на самых разных пациентов. Во время войны мне вновь выпал подобный опыт, довелось мне видеть, какое воздействие оказывают душевные страдания. Заглядывал я и себе в душу. Не помню случая, чтобы страдание сделало человека лучше. Мнение, будто страдание совершенствует и облагораживает, — выдумка.

* * *

У русских есть явное преимущество перед нами: они не так подчиняются условностям, как мы. Русскому никогда не придет в голову, что он должен делать что-то, чего не хочет, только потому, что так положено. Почему он веками так покорно переносил гнет (а он явно переносил его покорно, ведь нельзя представить, чтобы целый народ мог долго терпеть тиранию, если она его тяготила), а потому что, невзирая на политический гнет, он лично был свободен. Русский лично куда более свободен, чем англичанин. Для него не существует никаких правил. Он ест, что ему нравится и когда заблагорассудится, одевается, как вздумается, невзирая на общепринятую моду (художник ничтоже сумняшеся может надеть котелок и крахмальный воротничок, а адвокат — сомбреро); свои повадки он считает настолько само собой разумеющимися, что и окружающие так их воспринимают; и хотя нередко он разглагольствует из желания покрасоваться, он никогда не стремится казаться не тем, кто есть, лишь склонен чуточку прихвастнуть; его не возмущают взгляды, которых он не разделяет; он приемлет всё и в высшей степени терпим к чужим чудачествам как в образе мыслей, так и в поведении.

* * *

В русских глубоко укоренено такое свойство, как мазохизм. Захер-Мазох⁹, славянин по происхождению, первый привлек внимание к этому недугу в сборнике рассказов, ничем прочим не примечательных. Судя по воспоминаниям его жены, он и сам был подвержен тому состоянию, о котором писал. Вкратце речь идет вот о чем: мужчина жаждет, чтобы любимая женщина подвергала его унижениям как телесным, так и духовным. К примеру, Захер-Мазох настоял, чтобы его жена уехала путешествовать с любовником, а сам, переодевшись лакеем, прислуживал им, терзаясь ревностью. В своих произведениях Захер-Мазох неизменно выводит женщин крупных, сильных, энергичных, дерзких и жестоких. Мужчин они всячески унижают. Русская литература изобилует подобными персонажами. Героини Достоевского принадлежат к этому же типу повелительниц; мужчин, их любящих, не привлекают ни нежность, ни кротость, ни мягкость, ни обаяние; напротив, надругательства, которые они претерпевают, доставляют им чудовищное наслаждение. Они жаждут, чтобы их попирали. Тургеневские героини обладают умом, живым характером, энергией и предприимчивостью, герои же его — слабовольные мечтатели, неспособные ни к каким действиям. И так во всей русской литературе, что, как мне представляется, соответствует глубоко укорененным свойствам русского характера. Каждого, кто жил среди русских, поражает, как женщины помыкают мужчинами. Они, похоже, получают чуть ли не плотское наслаждение, унижая мужчин на людях; манера разговаривать у них сварливая и грубая; мужчины терпят от них такое обращение, какое стерпел бы мало кто из англичан; видишь, как лица мужчин наливаются кровью от женских колкостей, но ответить на оскорбления они даже не пытаются — они по-женски пассивны, слезливы.

* * *

В русской литературе поразительная скудость типов. Встречаешь одних и тех же людей под разными именами в произведениях не только одного писателя, но и разных авторов. Алеша и Ставрогин — два наиболее примечательных и четко обозначенных типа. Они, похоже, неотступно будоражат воображение русских писателей: рискну предположить, что они представляют две стороны русского характера, — эту пару в той или иной мере

ощущает в себе каждый русский. Возможно, именно сочетание двух столь непримиримых начал делает русских такими неуравновешенными и противоречивыми.

Юмор — вот что помогает уловить отличия в бесконечном разнообразии людских типов, и уж не потому ли русские романы так небогаты типами, что им поразительно недостает юмора. В русской словесности напрасно будешь искать острот или колких реплик, игривой болтовни, кинжального удара сарказма, интеллектуально освежающей эпитаграммы или беззаботной шутки. Ирония в ней груба и прямолинейна. Если русский смеется, он смеется над людьми, а не вместе с ними; он издевается над причудами истерических женщин, нелепыми нарядами провинциалов, выходками пьяных. Смеяться вместе с ним невозможно: его смех отдает невоспитанностью. Юмор Достоевского — это юмор трактирного завсегдатая, привязывающего чайник к собачьему хвосту.

* * *

Не припомню русского романа, в котором хоть один из персонажей посетил бы картинную галерею.

* * *

Откровение, которое русские преподнесли миру, на мой взгляд, не отличается большой сложностью: тайну вселенной они видят в любви. Ее противоположностью они считают своеволие — соперничающую, но злую силу; русские романисты без усталости показывают, к каким бедствиям оно приводит тех, кто не в силах с ним совладать. Своеволие чарует их, как женщин — Дон Жуан, однако его сатанинская сила преисполняет их ужасом; вместе с тем они относятся к нему с сочувствием и влекутся к нему, как Христос в «Небесном псе»¹⁰ к заблудшей душе. Они недооценивают его целеустремленность. Полагают, что оно борется с самим собой, и уверены, что где-то в самой сокровенной его глубине тлеет искра той любви, которая сдает и их сердца. Они ликуют, подобно сонмам поющих ангелов, когда оно, признав свое поражение, с мольбой кидается на их истомившуюся грудь, а буде оно откажется в конце концов упасть в их распростертые объятия, они, как добрые христиане, обрекут его «на тьму внешнюю» и «скрежет зубов».

Но, противопоставляя любовь и своеволие, Россия всего лишь противопоставляет два романтических вымысла. Оба они мни-

мость, и их принимают за нечто другое лишь потому, что они невероятно обостряют наше восприятие жизни. Впрочем, у русских все начинается и кончается чувством. Любовь, если она деятельная, перенимает некоторые свойства своеволия, а раз так, ее никоим образом нельзя противопоставлять своеволию в качестве взаимоисключающего ответа на загадку бытия; однако именно пассивная сторона любви, ее жертвенность и смирение притягательны для русских, в них они обретают искомый ответ на мучающую их тайну. К мысли это явно не имеет никакого касательства, здесь происходит капитуляция мысли перед чувством; когда русские говорят, что загадка вселенной в любви, они признают, что перестали искать ее разгадку. Поразительно, что русские, которых так занимает человеческая судьба и смысл жизни, решительно неспособны к метафизическим рассуждениям. У них не появилось ни одного философа хотя бы второго разряда. Они, похоже, не могут четко и глубоко мыслить. В умственном отношении все они заражены обломовщиной. Интересно задаться вопросом, почему это русское откровение имело такой успех в Европе. Идея главенства любви получила хорошую прессу. Самые разные писатели пленились им и сознательно или нет, но подпали под его влияние. Откровение это явилось как нельзя более кстати. Мир разочаровался в науке. Франция, где рождается большинство интеллектуальных течений, увлекающих западный мир, испытывала усталость после пережитого унижения. Натуралистическая школа выдохлась и заштамповалась; Шопенгауэр и Ницше утратили прелесть новизны. Появился обширный класс людей образованных, интересующихся метафизическими вопросами, которым, однако, не достало как образования, так и терпения, чтобы изучить труды метафизиков: мистицизм витал в воздухе; и когда этим людям внушали, что любовь способна разрешить все их сомнения, они весьма охотно поверили в это. Они, как им думалось, понимают, что это значит: ведь любовь — понятие многозначное, и каждый мог выбрать то значение, которое не противоречит его опыту; а мысль, что в этом знакомом чувстве каким-то образом заключается ответ на роковые вопросы, так их обрадовала, что они с готовностью увидели в любви объяснение всему. Они и не подозревали, что судят о бараньей ноге по меркам, приложимым к цилиндру. У одних это откровение совпадало с верой, от которой они никогда не отрешались, у других оно восстанавливало веру, от которой они отреклись головой, но не сердцем. Нельзя забывать и о том, что любовь — благодарная тема для краснобайства.

* * *

Прочел работу Х. о Достоевском. Нечто подобное могла бы сочинить в период климакса засидевшаяся в девках дочь священника. Не вижу причин, почему нельзя относиться к Достоевскому здраво. Вовсе не обязательно, читая роман, впадать в религиозный раж, подобно монахине, созерцающей Святое причастие. Захлебываясь от восторга, наводишь скуку на других и себе пользы не приносишь. По-моему, лучший комплимент предмету твоего восхищения — смотреть на него трезво, а не быть от него в такой же зависимости, как пьяница от стакана джина. Мне кажется, что если бы писатель мог покорять умы своих читателей, он охотнее попускал бы тем, кто пленяет их сердца. Вольтеру, без всякого сомнения, принадлежит более высокое место в сонме усопших, нежели мистеру Муди¹¹ или даже мистеру Сэнки. Мне бы хотелось, чтобы кто-то взял на себя труд проанализировать приемы Достоевского. Я думаю — хотя читатели этого не осознают, — что он воздействует на них не в последнюю очередь благодаря своеобразию своей манеры. Бытует мнение, что он посредственный романист, но это не так, романист он замечательный, и некоторые приемы использует с огромным искусством. Любимый его прием — это соединить главных героев для обсуждения какого-то дела, настолько невероятного, что разобраться в нем нет никакой возможности. Достоевский ведет читателя за собой к пониманию сути дела с ловкостью Габорио¹², распутывающего загадочное преступление. Бесконечные разговоры героев захватывающе увлекательны, и он с большой изобретательностью еще усиливает напряжение: герои, хотя разговор ведется крайне несущественный, выходят из себя, трясутся от волнения, их лица зеленеют, бледнеют, искажаются от ужаса, так что самые обыкновенные слова приобретают значение, которого никак нельзя вывести из разговора; вскоре читатель так ошарашен диким поведением героев, до того взвинчен сам, что его ошеломляет событие, в ином случае вряд ли бы его взволновало. Чей-то неожиданный приход, некая новость. Достоевский слишком хороший романист, чтобы гнушаться совпадениями, и его герои в критические моменты неизменно оказываются в нужном месте. Это прием Эжена Сю¹³. Не вижу здесь большого греха. Все приемы хороши, коли есть талант. Расин сумел выразить всю гамму человеческих страстей, хотя его жестко ограничивала условность александрийского стиха, а Достоевский на материале мелодрамы создал бессмертные произведения искусства.

Но такому мастеру, как Достоевский, подражать трудно, и достохвальным авторам, которые метят в английские Достоевские, очень повезет, если им удастся стать бледной копией Эжена Сю.

Порой Достоевский использовал этот метод чисто механистически, тогда его персонажи неистовствуют без всяких на то причин, и громы и молнии, которые они мечут, — не более чем грохот железного листа, по которому катают шарик. В этих случаях персонажи Достоевского так же неестественны, как фигуры на картинах художников болонской школы. Их поступки ходульны.

Мне не кажется, что образам, созданным Достоевским, свойственна большая тонкость. Его персонажи мало чем отличаются друг от друга. Величайшие романисты, по крайней мере, давали понять, сколь разные чувства соседствуют в груди одного человека. Его герои неизменно одинаковы. Они походят на «характеры», которые так любили писать в XVII веке: вот — человек из железа, с головы до ног из железа, вот — ветреница, ветреница с головы до ног, вот — святой, святой с головы до ног; они — страсти, достоинства и недостатки, воплощенные и подмеченные с удивительной живостью, и лишь изредка — люди. Западная Европа простодушно сочла, что русские такие и есть, но русские, которых мне довелось встречать, не слишком отличаются от остальных представителей человечества. И у железного человека есть свои слабости, и ветреница порой обладает добрым сердцем, и у святого встречаются изъяны. Читая Достоевского, не испытываешь того высшего наслаждения, которое доставляет романист, объединяя в одном персонаже доблесть и низость, бесконечную противоречивость и сумбурное богатство человеческой природы. Героя, с таким прихотливым и сложным характером, как Жюльен Сорель, Достоевскому создать не удалось.

Человек настолько сложен, что может служить символом Абсолюта, который, как нас уверяют, заключает в себе все — страдание и радость, перемены, время и пространство в своей бесконечной неразгаданности. А вот персонажи Достоевского точно заимствованы из моралите. Они кажутся сложными, потому что совершают непонятные поступки, но при ближайшем рассмотрении убеждаешься, что они до крайности просты и неизменно действуют по шаблону.

* * *

Достоевский напоминает Эль Греко, и если Эль Греко представляется мне художником большего масштаба, то, пожалуй,

лишь потому, что и его эпоха, и его среда благоприятствовали полному расцвету своеобразной гениальности, присущей обоим. Оба наделены даром делать незримое видимым; оба были людьми неумных, бурных страстей. Оба, судя по всему, шли непроторенными тропами в тех областях духа, где не дышат воздухом обыденности. Обоих терзало желание передать некую страшную тайну, которую они постигли каким-то шестым чувством, и напрасно тщились передать ее с помощью наших пяти чувств. Оба отчаянно пытались вспомнить кошмар, который жизненно важно вспомнить, но вспомнить никак не удается, хоть он и брезжит в сознании. Как и у Эль Греко, у Достоевского люди, населяющие огромные полотна, — крупнее, чем в жизни, они тоже выражают свои чувства неожиданными и прекрасными жестами, но смысл этих жестов ускользает. Оба они гениально владели великим искусством — искусством выразительного жеста; Леонардо да Винчи, а он знал в этом толк, утверждал, что для портретиста нет ничего важнее.

* * *

Своей репутацией «Воскресение» обязано репутации автора. Искусство в этом романе уступило место нравственной проповеди. Роман скорее походит на трактат. Тюремные эпизоды, рассказ об этапе арестантов неудачны, кажутся написанными на скорую руку; но талант Толстого столь огромен, что виден и в этом романе. На редкость удачны описания природы, и реалистические, и поэтические одновременно; а по умению передать запахи деревенской ночи, зной полдня, таинство рассвета — в русской литературе ему нет равных. В искусстве создавать характеры он достиг невероятной силы, и в Нехлюдове — хотя не исключено, что Толстой написал характер, несколько отличный от первоначально замысленного, — с его мистицизмом, неумением довести что-либо до конца, сентиментальностью, бестолковостью, бесхребетностью и упрямством, он создал тип, в котором большинство русских узнает себя. Однако если рассматривать роман с точки зрения техники, самое удачное в нем — колоссальная галерея второстепенных персонажей: кое-кто из них промелькнет лишь на одной странице, зачастую они описаны всего в трех-четыре строках с такой четкостью и своеобразием, от которых любой писатель придет в восторг. Второстепенные персонажи и в шекспировских пьесах по большей части не прописаны: это — имена, которым дано определенное количество

реплик, не более того; и актеры — а многие из них к этому очень чутки — расскажут, как трудно придать таким марионеткам хоть какую-то индивидуальность; а вот Толстой наделил каждый персонаж и жизнью, и характером. И зоркий толкователь может представить прошлое и предсказать будущее даже бегло набросанных персонажей.

* * *

Читал Тургенева. Нет второго писателя, который сделался бы так знаменит на таких несущественных основаниях. Он, как никто, обязан известностью тому преувеличенному почтению, с которым русские относятся к своей литературе. Он принадлежит к той же школе, что Октав Фейе¹⁴ или Шербюйе¹⁵, у него те же основные достоинства: благонаправленная чувствительность и легковесный оптимизм самодовольного ума. Интересно было бы узнать, что думали о нем в литературных кругах Парижа, где он, судя по всему, был заметной фигурой благодаря своей стати и происхождению. Он был знаком с Флобером и Мопассаном, Гонкурами¹⁶, Гюисмансом¹⁷ и тем кружком, который собирался в гостиной принцессы Матильды¹⁸. Чтение Тургенева успокаивает. Его книги не так распаляют любопытство, чтобы заглядывать в конец, с ними расстаешься без сожаления. Читая Тургенева, словно путешествуешь по реке — спокойно, неспешно, без приключений и волнений. Говорят, он затронул темы, которые в условиях русской политической жизни опасно было затрагивать (притом, что писал из безопасного парижского далека и мог бы себе позволить сравняться в смелости с Герценом или Бакуниным), и когда один из его героев оседает в деревне, похоже, русские читатели воспринимали это как намек на участие в революционном движении, что вызывало их живейший восторг; впрочем, к литературе это никак не относится, и политические соображения не могут сделать из плохой книги хорошую, так же как необходимость содержать семью и детей не может превратить халтуру в произведение искусства. Основное достоинство Тургенева — его любовь к природе, и его нельзя винить в том, что он описывает ее в духе своего времени, не столько передавая чувства, которые она у него вызывает, сколько перечисляя всевозможные звуки, запахи и виды; описания его исполнены изящества и прелести. Сцены провинциальной жизни дворянских семей в царствование Александра II не лишены приятности, а удаленность от нашего времени сообщает им

ироничность и исторический интерес. Но характеры у него шаблонные, галерея созданных им героев небогата. В каждой его книге встречаешь одну и ту же молодую девушку, серьезную, благородную и волевою, ту же бесцветную мамашу, того же речистого, неспособного к действию героя; второстепенные персонажи у него также расплывчаты и невыразительны. Во всех его произведениях есть лишь один персонаж, который продолжает жить своей жизнью и тогда, когда книга прочитана, — это туша Увар Иванович Стахов из «Накануне». Он играет перстами и апоплектически косноязычен. Но что должно поразить читателя в первую очередь — это крайняя банальность сюжетов. «Дворянское гнездо» — история человека, несчастного в браке: он влюбляется в девушку и, когда до него доходит слух о смерти жены, делает ей предложение, однако жена объявляется и влюбленные расстаются. «Накануне» — история девушки, которая влюбляется в молодого болгарина. Он заболевает, они женятся; у него открывается чахотка, и он умирает. Если бы в первом случае герой принял элементарные меры предосторожности и написал своему поверенному, чтобы удостовериться, действительно ли жена умерла, а во втором, если бы герой надел пальто, когда поехал хлопотать насчет паспорта, тут всей истории и конец. Можно провести поучительную параллель между Тургеневым и Энтони Троллопом¹⁹ — сравнение это во всех отношениях, за исключением стиля, будет не в пользу Тургенева. Английский писатель лучше знает жизнь, он не так однообразен, у него лучше чувство юмора, шире кругозор, характеры более разнообразны. У Тургенева нет сцены, так западающей в память, как та, в которой епископ Прауди²⁰ стоит на коленях у постели своей покойной жены и молит, чтобы Господь не попустил его обрадоваться ее смерти.

Крайне недалёковидное суждение. У Тургенева нет ни мучительных страстей Достоевского, ни масштаба и безбрежного сострадания к человеку Толстого, это верно, зато у него есть свои достоинства — обаяние, изящество, лиризм. В нем есть элегантность и своеобразие — замечательные свойства, что то, что другое — здравый смысл и удивительное ощущение природы. Даже в переводе видно, какой у него прекрасный слог. Он никогда не перехлестывает через край, не фальшивит, не впадает в занудство. Он не пророк и не проповедник; ему довольно того, что он писатель, исключительно и только писатель. Вполне вероятно, что будущее поколение сочтет Тургенева самым великим из этой триады.

* * *

Литература никогда не дарила миру образа более обаятельного, чем Алеша Карамазов, и так же, как общение с ним доставляло радость людям, которые с ним общались, оно доставляет радость и читателям. Оно благотворно, как июньское утро в Англии, когда в воздухе разлит аромат цветов, щебечут птицы, с моря вглубь страны доносится свежий соленый ветерок. Жизнь радует. Радуется она и в обаятельном обществе Алеши. Он наделен редчайшим и прекраснейшим качеством в мире — добротой, прирожденной наивной добротой, рядом с которой кажутся несущественными все интеллектуальные дарования. Ведь Алеша не так уж и умен, действия его не дают никаких результатов, а когда житейские неурядицы требуют более решительных поступков, он может вызвать и раздражение; он не человек действия, да и вообще человек ли он — так нечеловечески он свят. Добродетели его скорее пассивные, чем активные; он кроткий, терпеливый и смиренный; никогда никого не судит; он, возможно, не понимает людей, зато любит их безгранично. И это, как я полагаю, и есть та страсть, которая переполняет его душу, — бескорыстная, пылкая любовь, рядом с которой любовь плотская отвратительна, и даже материнская любовь к своему чаду слишком земная, «перстная». Достоевский, человек жестокий, в порядке исключения проявил доброту; Алеша у него хорош и телом, и душой. Он весел, как ангелы, не знающие земной юдоли. От него исходит солнечный свет. Его прелестная улыбка дороже любого остроумия. Он обладает чудесным даром утешать смятенные души. Его присутствие действует на страдальцев, как ласковое прикосновение прохладной руки любимого человека ко лбу, когда у тебя жар.

